

ДРУЗЬЯ

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КИРЕЕВСКИЙ

ЗАПИСКА И.В. КИРЕЕВСКОГО К ГЕРЦЕНУ

Публикация Ю.В. М а н н а

Публикуемая ниже записка – единственное свидетельство эпистолярного общения Герцена с Иваном Васильевичем *Киреевским* (1806–1856). При всем своем лаконизме она несет на себе отблеск их личных встреч, обмена мыслей и споров в самом начале 1840-х годов. Постараемся же конкретнее представить себе историко-литературный контекст этой записки.

Впервые Герцен появился в московском доме А.П. Елагиной, матери братьев Киреевских, незадолго до 18 ноября 1842 г. (см. II, 242). Здесь он встретился со “вторым Киреевским”, т.е. с Киреевским-младшим, Петром Васильевичем. С Иваном Васильевичем Герцен к этому времени, видимо, уже был знаком¹ и, конечно, имел представление об исповедуемых им взглядах – социально-политических, философских, литературных. Эти взгляды И.В. Киреевский довольно энергично пропагандировал и отстаивал в различных московских салонах, а в 1839 г. он изложил их в статье “В ответ А.С. Хомякову”. Статья не предназначалась для печати, но вместе с работой Хомякова “О старом и новом” (на которую отвечал Киреевский) получила широкую известность и способствовала формированию славянофильства как течения. Герцен, возвратившийся из Новгорода в Москву в июле 1842 г. и заставший “оба стана на барьере” (IX, 152), имел уже все основания видеть в Киреевском одного из вождей славянофильской партии.

Посещения Герценом дома Елагиной создали почву для более тесных и регулярных контактов обоих литераторов. Дневниковая запись Герцена от 23 ноября 1842 г. фиксирует встречу с Киреевским, состоявшуюся накануне, – причем по характеру записи видно, что дело не обошлось без спора, весьма откровенного и резкого (см. II, 244–245). По своему умственному складу, как считает Герцен, Киреевский родственен Белинскому: он человек “экстремый”, фанатически преданный своим убеждениям, не боящийся крайних выводов. Отмечена безупречная честность Киреевского; его воззрения – результат долгого и мучительного внутреннего процесса. Да и не только внутреннего: Герцен помнит о каре, обрушившейся на Киреевского (запрещении в 1832 г. “Европейца”). “Человек этот глубоко перестрадал вопрос о современности Руси, слезами и кровью окупил разрешение...” “Вопрос о современной Руси” вводит в самый центр славянофильской доктрины Киреевского, и Герцен отмечает ее сложность, неортодоксальность: с одной стороны, утопичность позитивной программы (“разрешение нелепое”), с другой, – сугубо критическое, отнюдь не примирительное отношение к современным русским порядкам (“знает гнусность настоящего”), что так выгодно отличает Киреевского и от представителей официальной идеологии и от умеренных либералов типа М.А. Дмитриева. Логика спора довела «до “Отечественных записок”», т.е. до Белинского: Киреевский отождествлялся с ними “с негодующим презрением”; Герцен принялся защищать – но тут направление разговора переменялось².

В дальнейшем Герцен неоднократно бывал у Елагиных³. Во время этих визитов он не мог не встречаться и с Киреевским (одна из таких встреч, 21 февраля 1843 г., отмечена в письме Е.А. Елагиной к А.А. Елагину⁴). Виделись они, конечно, и в других московских домах.

Время общения Герцена с Киреевским совпало с его работой над циклом статей “Дилетантизм в науке” (там же, 328), начатым весной 1842 г. (III, 324). В течение 1842 г. были написаны три статьи, в конце января следующего года Герцен принимается за четвертую, завершающую статью и заканчивает ее в марте. Можно сказать, что работа над этими статьями (по крайней мере, двумя последними), в которых концентрированно выражены философские и эстетические идеи Герцена, протекала на фоне его встреч и бесед с Киреевским. Отзвуки этих бесед можно услышать в герценовских статьях. С другой стороны, содержание последних стало предметом споров и обсуждения.

Исследователи, кажется, еще не обратили внимания на одно интересное совпадение: 23 марта 1843 г. Герцен вносит в дневник следующую запись: “Что за прекрасная, сильная личность Ивана Киреевского! Сколько погубило в нем, и притом развитого! Он сломался так, как может сломаться дуб. Жаль его, ужасно жаль. Он чахнет, борьба в нем продолжается глухо и подрывает его. Он один искупает всю партию славянофилов” (II, 273). Но именно эта дата – “23 марта, 1843” – стоит и под заключительной статьей цикла “Дилетантизм в науке”, последние строки которой обращены именно против настроений подавленности и отчаяния: “Вера в будущее – наше благороднейшее право, наше неотъемлемое благо (...) И эта вера в будущее спасет нас с тяжкие минуты от отчаяния; и эта любовь к настоящему будет жива благими деяниями” (III, 88). Трудно сказать что писалось раньше – строки из дневника или заключительные абзацы статьи, но, во всяком случае, и то и другое принадлежит одному контексту, находится в одном русле размышлений, словно перед автором “Дилетантизма в науке” маячил образ “сломленного” Киреевского.

Дневниковая запись от 23 марта сделана, очевидно, под влиянием недавней встречи с Киреевским. Спустя несколько дней состоялась еще одна встреча, во время которой происходил “длинный разговор о философии”. Позиции спорящих изложены в дневниковой записи Герцена от 5 апреля. Наука, по мнению Киреевского, “чистый формализм, самое мышление – способность формальная, оттого огромная сторона истины, ее субстанциальность, является в науке только формально и, след., абстрактно, не истинно или бедно истинно. Философия не может решить свою задачу, не достигнет примирения и истины, потому что ее путь недостаточен etc., etc. Слово есть также формальное выражение, не исчерпывающее то, что хочешь сказать, а передающее односторонно”. Далее Герцен формулирует свою точку зрения в споре: “Конечно, наука *par droit de naissance*” абстрактна и, пожалуй, формальна; но в полном развитии своем ее формализм – диалектическое развитие, составляющее органическое тело истины, ее форму – но такую, в которую утянуто само содержание” (II, 274).

Следует отметить, прежде всего, что герценовская запись касается самой сути гносеологической теории Киреевского. Действительно, Киреевский считал логическое знание недостаточным, неадекватным истине, неспособным обнять ее полно и всесторонне, а потому нуждающимся в дополнении и коррекции. Он не отвергал полностью роль логического и рационального познания, но полагал, что оно должно быть надстроено, так сказать, познанием сверхлогическим и сверхнаучным, в котором бы наряду с умом участвовали все способности души. Эта точка зрения наметилась еще в публикациях Киреевского в “Европейце” (1832), усилилась в упоминавшейся выше работе “В ответ А.С. Хомякову”, но особенно полное отражение получила уже в более поздних трудах: “Обозрение современного состояния литературы” (1845), “О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению в России” (1852), “О необходимости и возможности новых начал для философии” (1856). Упомянутый “длинный разговор о философии” явился вехой на пути к этим трудам: в споре с Герценом Киреевский, видимо, заострил и развил свою позицию.

Но, с другой стороны, и Герцен выразил точку зрения, уже достаточно четко наметившуюся в его работах. В первой статье из цикла “Дилетантизм в науке” он писал, что “духу человеческому, искушившемуся на всех ступенях лестницы самопознания, начала раскрываться истина в стройном наукообразном организме и притом в живом организме. За будущность науки нечего бояться” (III, 8). Речь шла не просто о познании, но именно о познании научном, осуществляемом в диалектико-логических, категориях. Во второй статье, озаглавленной “Дилетанты-романтики”, Герцен подошел к той же проблеме с исторической точки зрения: три эпохи – классическая, романтическая и новая – представляют три различных типа сознания, а значит и тип отношения к истине. Современный тип объединяет сильные стороны двух предыдущих, его отличает тенденция к строгой наукообразности; неслучайно ярчайшим симптомом нового сознания Герцен считает появление гегелевской “Логики”: “В этих нескольких печатных листах, писанных трудным языком и назначенных, кажется, исключительно для школы, лежал плод всего прошедшего мышления, семя огромного, могучего дуба” (III, 39).

Обе статьи уже были напечатаны к моменту встречи Киреевского и Герцена⁵, возбудили всеобщее внимание и, скорее всего, послужили поводом или, по крайней мере, одним из поводов для упомянутого спора. Но во время последнего Герцен, как видно из его записи, развил свою мысль, изложив ее в итоговой, почти афористической форме. Его точка зрения опирается на Гегеля, согласно которому, философия “замещает представления мыслями, *категориями* или, говоря еще точнее, *понятиями*”⁶, Киреевский же, со своей стороны, считая такое

* Здесь: по своей природе (франц.).

понятийно-логическое развитие философии недостаточным, видел в Гегеле предельное выражение нежелательной тенденции^{2*}.

Через несколько дней после упомянутого спора – в первых числах мая – произошла еще одна встреча. Герцен прочитал Киреевскому и Хомякову заключительную статью цикла. “Большой эффект и рукоплескания” (II, 281), – отметил Герцен в дневнике. Следовательно, статья не просто понравилась, но вызвала горячее одобрение, пробудила чувство солидарности. После обнаружившегося разномыслия и резких споров это может показаться нелогичным. Но никакой нелогичности не было.

В своей статье, озаглавленной “Буддизм в науке”, Герцен выступил против внешнего, механического, формального отношения к процессу познания: “Формалисты науку *изучают* как нечто внешнее; до некоторой степени они могут усваивать себе ее остов, ее выражения, полагая, что они приняли в себя ее животворную душу”. Но истинный путь познания не таков. “Науку надобно прожить, чтоб не формально усвоить ее себе (...) Прострадать феноменологию духа, исходить горячею кровью сердца, горькими слезами очей, худеть от скептицизма, жалеть, любить многое, много любить и все отдать истине – такова лирическая поэма воспитания в науку” (III, 67–68). Достаточно вспомнить, какое значение придавал Киреевский личному, субъективному моменту в знании, чтобы представить себе, как близки ему показались эти слова.

Герцен далее писал: “Надобно так усвоить себе книгу, чтоб выйти из нее (...) Наука живому передается жизненно, формалисту – формально” (III, 78). И.В. Киреевский скажет вскоре почти в тех же словах: “Живое рождается только из жизни”⁸.

Однако к “лирической теме” о личном моменте в познании Герцен подошел со *своих* позиций, удерживая основное ядро *своей* гносеологической теории. Это видно хотя бы из утверждения о том, что “в науке истина, облеченная не в вещественное тело, а в логический организм, живая архитектоникой диалектического развития, а не эпопеей временного бытия; в ней закон – мысль исторгнутая, спасенная от бурь существования, от возмущений внешних и случайных” (III, 75). Значит, само отношение науки к личному моменту двойственно. Наука глубоко лична по субъективному, страстному, заинтересованному, поддержанному всей жизнью отношению к истине, по характеру ее добытия и открытия. Но она нелична, точнее даже надлична, по своему логическому аппарату, по самому способу своего развития, по внутреннему своему устройству и функционированию. Для Киреевского же, с его теорией “гиперлогического” знания, обе грани личного момента соприкасались и переходили одна в другую⁹.

Таким образом, статьей “Буддизм в науке” отмечена точка наибольшего сближения взглядов Герцена и Киреевского при *одновременном* сохранении дистанции. Это был подлинный контрапункт – философский, гносеологический, – сообщавший драматизм отношениям обоих литераторов¹⁰.

Едва ли Киреевский (а также Хомяков), рукоплескавший Герцену, не заметил разделявшей их дистанции. Однако при том, что Киреевский умел отдавать должное и сторонникам противоположных взглядов, он, видимо, вполне оценил сам момент сближения.

Сходство-различие проявилось и в оценке перспектив новейшей философии. В статье Герцена говорилось о недостаточности учения Гегеля перед лицом современных требований, выдвинувших “мысль о деянии” (III, 73), – и это перекликалось с упреками немецкому мыслителю со стороны Киреевского. Однако Киреевский видел вину Гегеля в предельном развитии принципа опосредованно-логического знания; Герцен же считал это не только величайшей заслугой немецкого мыслителя, но и необходимой предпосылкой последующего перехода философии в дело. Острые критики он обратил против правых гегельянцев, не чувствующих потребности этого выхода в жизнь, – выхода, подготовленного всей предшествующей философией. Соответственно – сходно и в то же время различно – оценивался поворот Шеллинга к философии откровения. В статье “Буддизм в науке” Герцен (по-видимому, к большой радости Киреевского) с долей сочувствия и одобрения высказался об этом факте, однако вовсе не из тех соображений, что его оппонент. Киреевский приветствовал нового Шеллинга за отход от гегелевского рационализма в сторону новой, положительной философии. Герцен также видел в этом симптом возникновения в “германской атмосфере” более практического умонравления, но самого факта отхода от гегелевского спекулятивного метода не одобрил (поэтому он говорил о *рenegатстве* Шеллинга, хотя и называл это событие “важным и многозначительным” – III, 74).

^{2*} Еще одна деталь к упомянутому “разговору о философии”. В письме к Хомякову от 15 июля 1840 г. Киреевский отмечал: “Мысль моя та, что логическое сознание, переводя дело в слово, жизнь в формулу, схватывает предмет не вполне... Живя в этом разуме, мы живем на плане, вместо того, чтобы жить в доме...”⁷ Отсюда видно, насколько точно передавал Герцен точку зрения своего оппонента.

В связи с оценкой немецкой классической философии нужно упомянуть еще одно имя, поскольку оно фигурирует в интересующей нас записке Киреевского. Это И.-Г. Фихте. Как уже давно замечено, “в отличие от Бакунина и в известной мере Белинского, Герцен не знал фихтеанского периода в своем развитии”¹¹, хотя придавал немалое значение философии Фихте. По-видимому, то же самое можно сказать о Киреевском. У обоих русских мыслителей Фихте включался в перспективу новейшего философского движения, выступавшую, однако, в неодинаковом свете.

У Герцена в “Дилетантизме в науке” Фихте вместе с Гете, Шиллером, Кантом – зачинатель нового периода европейского сознания, то есть не классического и не романтического, а современного, который был увенчан Гегелем. Уже после завершения цикла, летом 1844 г., Герцен внимательно перечитал брошюру Фихте “Die Bestimmung des Menschen”. Работа Фихте, написанная в 1800 г., носит переходный характер – от периода субъективного идеализма к идеализму объективному, и эта особенность была уловлена и отмечена в дневниковой записи Герцена около 4 июля 1844 г. (см. II, 362; кстати, это единственное упоминание Герценом конкретного сочинения Фихте – “О назначении человека”). Затем, в “Письмах об изучении природы” (1844–1846) Герцен конкретизировал перспективу: Фихте – мыслитель, продолживший усилия кантовской критической философии (III, 114); отсюда возможность параллелей: Кант – Мирабо, Фихте – Робеспьер (“премилое сравнение” Э. Кине, по словам Герцена, – III, 117). Как продолжатель Канта, а затем субъективный идеалист (“не = я пало под ударами Фихте...”), он бесконечно расширил “власть разума” (III, 303) и тем самым подготовил объективный идеализм Шеллинга, а затем Гегеля. Такова, по Герцену, главная перспектива. Упомянул Герцен еще Фихте (в “Дилетантизме в науке” и в “Письмах об изучении природы”) как пример философа, не замыкавшегося в научной сфере и в час опасности для отечества, бросившего “на время книгу” (III, 53); Герцен подразумевает “Reden an die deutsche Nation” (1807–1808), в которых Фихте призывал к освободительной борьбе против наполеоновского нашествия).

Некоторые пункты герценовской интерпретации Фихте должны были быть близки Киреевскому – в частности, отношение к патристическому поступку немецкого философа. Совпадала и общая оценка Фихте в перспективе новой философии. В статье “Девятнадцатый век” Киреевский рассматривает его как философа, подготовившего (наряду со Спинозой, Лейбницем, Кантом) философию тождества Шеллинга. В последней – субъективный идеализм Фихте был снят, объят более высоким синтезом, который, правда, начинает уступать место новой, “положительной” философии того же Шеллинга¹². В 1840-е годы в свете этого итога Киреевский так оценивает весь классический период немецкой философии: “Из системы Канта развилась одна, отвлеченная сторона в системе Фихте” – сторона субъективного идеализма; Шеллинг в философии тождества “развил противоположную сторону” – объективную; наконец, Гегель “силою своей необыкновенной, громадной гениальности” развил “законы логического мышления” “до последней полноты и ясности результатов и тем дал возможность тому же Шеллингу доказать односторонность всего логического мышления”¹³. От Канта через Фихте и Шеллинга (периодов философии тождества и трансцендентального идеализма) к Гегелю устанавливается последовательная перспектива, что, в общем, совпадает и с точкой зрения Герцена; однако у Киреевского эта перспектива заостряется в антигегелевском духе. Все это нашло законченное выражение в статье Киреевского “Обозрение современного состояния литературы”; интерес к книге Фихте, о которой шла речь в записке Киреевского к Герцену, как бы предвдвывает написание упомянутой статьи.

В конце 1843 г. обозначилась еще одна знаменательная веха в общении Герцена и Киреевского. Герцен “пробежал” первую книжку “Европейца” и был поражен прочитанным. Около 21 декабря он записал в дневнике: “Статьи Ив. Киреевского удивительны; они предугадали современное направление в самой Европе, – какая здоровая, сильная голова, какой талант, слог... и что вышло из него. Деспотизм его жал, жал, и он сломился, наконец. Сломился как благородная натура, – он не изменил своему направлению, а бросился в самый темный лес мистицизма и там ищет спасенья” (II, 321).

В первой книжке “Европейца” (1832) были опубликованы следующие произведения Киреевского: начало статьи “Девятнадцатый век”, начало “Обозрения русской литературы за 1831 год”, рецензия “Несколько слов о слоге Вильмена” и «Горе от ума» – на московском театре”. Хотя Герцен оценил общий дух написанного Киреевским, да и всего журнала в целом, но, несомненно, главное его внимание привлек “Девятнадцатый век”: именно здесь содержалась общая принципиальная характеристика современного состояния европейской умственной жизни.

Оценка Герценом развивается под знаком контраста: Киреевский прежний и теперешний. Контраст понятен в контексте их общения: после многочисленных и острых споров с од-

ним из вождей славянофильской партии Герцен внимательно присмотрелся к его трудам десятилетней давности и нашел в них много близкого себе. Близкого не только в частности, но и в общей идеологической ориентации. Герцен не отрицает преемственности между ранним Киреевским и Киреевским 1840-х годов, но он ощущает перспективу да и саму структуру мысли, не совпадающие со славянофильским типом мышления. Ощущает иную, откровенно европейскую перспективу просвещения. «Как до сих пор все просвещение наше заимствовано извне, как только извне можем мы заимствовать его и теперь, до тех пор, покуда поравняемся с остальной Европою. Там, где *общеєвропейское* совпадает с нашею *особенностью*, там родится просвещение истинно русское, образованно-национальное...» – говорилось в рецензии «Горе от ума» – на московской сцене¹⁴, которую тоже, видимо, «пробежал» Герцен.

Тем временем продолжалась полемика «позднего» Киреевского с Герценом. В 1845 г. в первых трех номерах обновленного «Москвитянина», перешедшего под его редакцию, Киреевский публикует «Обозрение современного состояния литературы». В этой программной статье явственно слышны отклики предшествующих бесед и споров с Герценом. Как выразился Э. Мюллер, Герцен и Огарев даже выступают «тайными партнерами в диалоге»¹⁵.

Как бы подхватывая мысль о сближении образованности с жизнью, высказанную в заключительной статье «Дилетантизма в науке», Киреевский пишет о всеобщем практическом умонаправлении, о «журнализме» современной литературы. После подробной характеристики состояния культуры в главных европейских странах, он приходит к выводу: «Отдельные западные народности, достигнув полноты своего развития, стремятся уничтожить разделяющие их особенности и сомкнуться в одну общеевропейскую образованность»¹⁶. В этих словах определенное подтверждение верности Киреевского своим прежним, «европейским» убеждениям (ср. выше в цитате из Герцена: «Не изменил своему направлению...»). Критик по-прежнему против провинциализма, отгороженности России от европейской культуры; он против механического восстановления допетровских начал русской жизни, считая эту задачу неисполнимой и утопичной; он за интеграцию западноевропейской и русской культуры в одно общеевропейское просвещение. Однако вклады той и другой стороны неравноценны: Запад, по Киреевскому, обнаружил несостоятельность своего одностороннего, чисто логического и расщепленного миропонимания; поэтому именно Россия должна внести во всевропейское просвещение животворящее начало «православно-словенской» образованности.

Продолжил Киреевский и спор с Герценом (разумеется, не только с ним), относительно «Отечественных записок», рассматривая этот журнал как антипод «Маяка». Как «Маяк» во всем преследует цель одностороннего, доморощенного просвещения, так «Отечественные записки» будто бы преследуют цель одностороннего просвещения западного. Poleмическое задание делает вывод Киреевского чересчур уж некорректным: не мог же он не видеть, что по уровню «Отечественные записки» и рептийное, полуанекдотическое издание С.А. Бурачка просто несопоставимы.

В свою очередь и Герцен сказал свое новое слово в споре. В статье «Москвитянин и вселенная»¹⁷ он отметил выдающиеся достоинства стиля и манеры «Обозрения» («во всем «Москвитянин» не было подобной статьи»), верность и глубину обрисовки «современного состояния умов в Европе», но решительно не согласился с главной идеей о том, что «славянский мир может обновить Европу своими началами» – «вывод бедный», странный и ниоткуда не следующий!» (II, 137).

На этом полемика двух литераторов не закончилась. Отзвуки ее можно было бы проследить и в работах Киреевского 1850-х годов, а с другой стороны, в «Письмах об изучении природы» и в последующих произведениях Герцена. Свообразным эпилогом этих споров явилась замечательная эпитафия Киреевскому в части четвертой «Былого и дум».

Публикуемая ниже записка в какой-то мере освещает личные отношения Киреевского и Герцена. Несмотря на разномыслие, Киреевского с кругом Герцена связывали нити глубокой симпатии. 2 мая 1844 г. Киреевский писал А.С. Хомякову: «Ты пишешь, что противники издадут «Галатею». Кто же эти противники? Неужели ты так называешь Грановского и проч.?»¹⁸. С «уважением и любовью» отзывался Киреевский о Герцене, о чем последнему сообщил Грановский¹⁹. Сравнительно недавно стало известно письмо Киреевского к Грановскому²⁰. В параллель к этому факту следует поставить и публикуемую ниже записку Киреевского к Герцену, свидетельствующую о их дружественных отношениях.

Записка Киреевского печатается впервые по фотокопии РГБ с автографа ИСЖ.



ГЕРЦЕН

Автолитография К.А. Горбунова, 1845. Слева литографированная подпись: "С нат(уры) и на кам(не) К. Горбунов 1845". Внизу дарственная надпись Герцена С.Н. Кетчер: "Серафиме Николаевне от Герцена 1846 Январь 3"

Исторический музей, Москва

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Ср. ЛЖГ I, 264.
- ² См. также "Лит. наследство", т. 79, с. 58.
- ³ ЛЖГ I, 271, 273 и 275.
- ⁴ "Лит. наследство", т. 79, с. 57.
- ⁵ ОЗ, 1843, № 1 и 3.
- ⁶ Г.-В.-Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. I. Наука логики. М., 1957, с. 87.
- ⁷ И.В. Киреевский. Критика и эстетика, М., 1979, с. 362.
- ⁸ И.В. Киреевский Полн. собр. соч., т. 1., М., 1911, с. 67.
- ⁹ Ср.: Wilhelm Goerd. Vergöttlichung und Gesellschaft. Studien zur Philosophie von Ivan Kireevskij. Wiesbaden, 1868, s. 143.
- ¹⁰ Ср.: Eberhard Müllер. Russischer Intellekt in europäischer Krise. Ivan Kireevskij (1806–1856). Köln, 1966. s. 234–235. Мюллер рассматривает этот эпизод лишь как факт сближения обоих литераторов, но это лишь одна сторона медали. См. также новую работу Э. Мюллера: И. В. Киреевский и немецкая философия ("Вопросы философии", 1993, № 5). Далеко не точно.
- ¹¹ См. Л. П и п е р. Мироззрение Герцена. Историко-философский очерк. М.-Л., 1935, с. 99.

¹² И.В. К и р е е в с к и й. Критика и эстетика, с. 85–86. Мюллер отметил, что Киреевский критикует Фихте в шелленгианских категориях (E. Müller. Op. cit., s. 178).

¹³ И.В. К и р е е в с к и й. Критика и эстетика, с. 271.

¹⁴ Там же, с. 119.

¹⁵ E. Müller. Op. cit., s. 26.

¹⁶ И.В. К и р е е в с к и й. Критика и эстетика, с. 173.

¹⁷ ОЗ, 1845, № 3.

¹⁸ И.В. К и р е е в с к и й. Полн. собр. соч., т. II. М., 1911, с. 233.

¹⁹ “Т.Н. Грановский и его переписка”, т. II. М., 1897, с. 259.

²⁰ Письмо Киреевского к Т.Н. Грановскому от февраля (?) 1844 г. (И.В. К и р е е в с к и й. Избранные статьи. М., 1984, с. 314–315); впервые опубликовано В. Сахаровым в “Вопросах литературы” – 1979, № 11, с. 252–255).

(Москва. 1843 – первая половина 1844 г.)¹

Примите усерднейшую мою благодарность vom Herzen zu Herzen², и за статью³, и за нянюшек. За первую вам будет обязано потомство вообще, а за вторых мое в особенности⁴.

Надеюсь видиться с всеми завтра у матушки⁵ и прошу позволения до тех пор подержать Fichte⁶ и пр.

Душевно вам преданный И. К и р е е в с к и й

¹ В ЛЖГ 1, 281 настоящая записка Киреевского предположительно датируется январем–маем 1843 г., временем наиболее частых встреч Герцена с И.В. Киреевским. Не исключено, однако, что она была написана осенью 1843 г. или в первой половине следующего года, когда Герцен продолжал бывать в доме Елагиной (летом Киреевский обычно уезжал из Москвы в Долбино, а ко второй половине 1844 г. посещения Герценом салона Елагиной стали, действительно, редкими).

² См. ЛЖГ 1, 264. Vom Herzen zu Herzen (от сердца к сердцу. – нем.) Киреевский обыгрывает буквальное значение фамилии Герцена – Herzen.

³ Речь идет о статье из цикла “Дилетантизм и наука” (ОЗ, 1843, № 1, 3, 5, 12). Оттиски этих статей Герцен дарил своим знакомым. Возможно, что здесь подразумевается последняя, четвертая статья цикла, столь понравившаяся Киреевскому (см. выше).

⁴ Малолетние дети Киреевского – Катя, Маша и Вася.

⁵ То есть в салоне Елагиной.

⁶ Какое именно произведение Фихте имеется здесь в виду – неизвестно. По всей вероятности, это упоминаемая выше Герценом брошюра “Назначение человека” (1-е изд.: “Die Bestimmung des Menschen”. Dargestellt von Johann Gottlieb Fichte. В., 1800. Совр. изд.: Лпз., 1976).

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА АСТРАКОВА

ФРАГМЕНТЫ ВОСПОМИНАНИЙ

Публикация И.М. Рудой

Мемуарные фрагменты друга семьи Герцена Т.А. Астраковой до настоящего времени известны были лишь частично по книге Т.П. Пассек “Из дальних лет”, куда введены были, возможно, в переработанном виде главы 30, 39 и 42, и по автографу Пушкинского дома, опубликованному А.Н. Дубовиковым в т. 63 “Литературного наследства”. Настоящая публикация дополняет эти источники материалами из личного архива Т.А. Астраковой, полученными сравнительно недавно Государственным литературным музеем.

Первый фрагмент в большей своей части посвящен жизни московского кружка Герцена 1840-х годов и имеет в рукописи заглавие “Воспоминания Т.А. Астраковой о Наталье Александровне Герцен”. Второй небольшой отрывок печатается под условным названием “Кунцево”: содержание его также относится к московскому периоду жизни Герцена. Последний фрагмент – автобиографическая заметка о рождении и детстве Т.А. Астраковой. Он условно озаглавлен “Мои детские годы”. Этот документ многое объясняет в мировосприятии человека, так близко стоявшего к скамье Герцена.

Фрагмент, открывающий публикацию представляет собой авторизованную копию, снятую с утраченного или еще не обнаруженного подлинника близким знакомым Астраковой – В.В. Антушевым, но приведенное выше заглавие вписано рукой самой Астраковой.